

РАССКАЗЫ

ГРУШЕВАЯ АЛЛЕЯ

Кажется, что во всем городе — грушепад. Да что в городе — на всем белом свете. Уже тысячи диких плодов устилают серую истоптанную землю по обе стороны старой аллеи, а солнечный град все идет, не переставая. И все новые сорванцы то там, то здесь несмышлеными цыплятами бросаются в ноги прохожим и без счета гибнут под каблуками, под колесами хозяйственных сумок, велосипедов.

Вот, ковыляя, тащит за собой тележку с привычной поклажей почтальонша Федотовна. Тележка тоже ковыляет, то одним, то другим боком наезжая на панданцы, и кажется, будто она исподтишка передразнивает свою старую хозяйку.

Впрочем, Федотовна незлобива и непамятлива на безобидные проказы. Местные прогульщики уроков, пользуясь этим, иногда звонят на доставку позабавиться:

— Скажите, это почтовый офис?

— Охвис, — с достоинством отвечает Федотовна.

Пацаны, переглядываясь, прыскают со смеху.

— А какая техника у вас есть для отправки корреспонденции?

Пауза.

— Ну етот... хвакс! — следует, наконец, мужественное признание.

Нынче настроение у Федотовны приподнятое. Поутру приметливая старушенция углядела на каких-то задворках выброшенный на помойку старый буфет. Окрестные алконавты помогли ей отбуксировать находку до ближних кустов, и теперь она надеется сделать на ней свой маленький гешефт. Неужто какому-нибудь хорошему человеку не пригодится на дачу этакий красавец? И всего-то рубликов за триста... ну хотя б за двести? У Федотовны и расписано уже, на что она потратит нежданный приварок. Первым делом ограду на Кирюшиной могилке надобно подровнять-подкрасить. А что останется — конвертирует она в жидкую валюту по хорошему «курсу» (Федотовна знает одно такое местечко) и потом будет рассчитываться ею с рукастыми соседскими мужиками: вот утюг давно пора починить да из обуви к осени кое-что подлатать...

А навстречу Федотовне шагает, помахивая пакетиком, беспечная юная дева восемнадцати лет от роду. Это местная путанка Анжела (не путать с Анжеликой!) по прозвищу Лука, которое уж точно ни с каким другим не спутаешь. Прозвище досталось ей в честь одного дружественного лидера. Нет-нет, они никогда не встречались. Все дело в поредевшей от химии ее соломенной челке, которой приходится распорядиться теперь весьма экономно.

Анжела-Лука спешит в больницу к землячке Светланке. Та отлеживается в палате для венерических и вот уже третий день просит килограмм молочных сосисек. Светланке вообще-то грех хныкать: палата на четверых уж получше их с Анжелой комнатенки на восемь душ, не считая «мамкиной» овчарки. Сама-то хозяйка «точки» поселилась отдельно, поэтому барбосину приходится еще и выгуливать. И вот сегодня, блин, как раз ее, Анжелкина очередь...

Глаза у девушки блестят, шаг, хоть и бодрый, уже не вполне тверд. И торопится она, так как знает: вот-вот начнет ее неудержимо клонить ко сну. Но пролетят два-три часа — и будто не было бутылка беленькой, которой угостили ее в летней кафешке знакомые кавказцы. А там можно и на эту чертову работу.

Сама Анжела когда-то больше всего на свете любила бабушкину кулебяку, а теперь обожает шашлыки да все эти фастфудовские салаты, щедро заправленные майонезом. А еще нравится ей в свободные дни выходить вечерами к автобусной остановке и, сидя на лавочке, глазеть на проезжающие автомобили, особенно, конечно, на иномарки. Между прочим, начинала она в этих краях, но потом менты вдруг стали гонять не понарошку, и вся их «точка», все без малого тридцать девчонок, как рыба, ушли туда, где поспокойнее — в сторону области.

Как и многие девушки ее профессии, мечтает Анжела поскорее вырваться из оков сексуального рабства. И, конечно, самой стать «мамкой». Иначе, говорит она Светланке, пропаду. И пока повышает квалификацию под началом своего персонального сутенера Славика. Это когда они наезжают к себе в Новоульяновск за молоденьким пополнением, которое Анжела вербует под Славиковым присмотром на местных дискотеках. Когда-то так нашли и ее...

А это что за компания, будто с сусальной рождественской открытки? Два Саши, он и она, юные супруги, вывели на прогулку своего малыша, еще такого крохотного, что он похож на пупса. Ребята — студенты, дети «новых русских», но у родителей Саши-ее бизнес покруче. Поэтому, как утверждают злые языки, Саша-он уступил просьбе тестя и взял фамилию своих новых родственников. Был Преображенским — стал Шмавовядкиным. И маленький Николаша, когда родился, тоже стал Шмавовядкиным.

Вообще-то Николашины родители тоже чем-то похожи на пупсов, но сегодня у обоих — покрасневшие глаза и шмыгающие, припухшие носы. Они не простужены, нет. Просто только что, оживленно беседуя за обедом, супруги обменялись аргументами в виде содержимого своих газовых баллончиков. О чем был спор? О чем, о чем... Ясное дело, о бабле. Сколько нужно современному уважающему себя человеку для счастья и так ли уж все-все предпринял Саша-муж, чтобы этому человеку не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы...

А вот, наконец, и главный герой нашего рассказа — человек с собачьим поводком. Мы не видим его лица, потому что он как-то рассеянно задумчив и в эти минуты будто что-то разглядывает у себя под ногами. Из-за этого он кажется похожим на нахолившегося воробья, которых множество здесь, на роскошном грушевом пиру.

На днях человеку с поводком исполнилось сорок семь. Или сорок девять? Мы знаем, что у него серые глаза и жилка на виске. Еще он худ и часто небрит. По профессии этот человек — художник, кажется, музейный декоратор, в последнее время перебивающийся случайными заработками. Сам он свою деятельность характеризует просто и емко: «каляка—маляка». Так говорят дети, так говорила и его дочка, когда была маленькой. Теперь она уже давно взрослая и живет в далеком городе Лос-Анджелесе. Или в Лас-Вегасе — он и сам толком не знает.

Еще он говорит о себе так: «Я — промежуточный человек». Говорит, будто извиняясь: что, мол, с этим поделаешь? Промежуточный — потому что для жизни в том, старом времени родился слишком поздно, а чтоб как следует пожить в нынешнем — состарился слишком рано. Не эта ли превратность судьбы так занимает его мысли?

Если Художник (будем так его называть) кому-то и доверяет их, то только собаке Айке. Ушастая Айка терпеливо переносит вместе с хозяином все тяготы жизни. На спинке у нее — шелковая тесемка колечком с надписью «Игрушка мягко набивная для детей старше 3-х лет». Еще недавно у Художника была такая же живая Айка, но она осталась в его другой жизни, и то уже совсем другая история.

Его ежедневный маршрут всегда неизменен. Он ведет мимо магазина «Спорт», затем сворачивает с проспекта в переулок и через грушевую аллею выводит пря-

миком к главному корпусу больницы. Потом уходит вдоль больничного забора направо, к дворику детского онкологического института; тут наш герой, погруженный в свои нешуточные раздумья, огибает кусты сирени и поворачиваете восвояси.

На площадке перед институтом всегда безлюдно, вокруг лишь пыльный бурьян да фонари, зажигающиеся к вечеру через одного. Здесь тупик. Огромные трейлеры, стремясь сократить путь, часто сворачивают сюда, покупаясь на видимость солидной дороги, а она вдруг упирается в ворота автостоянки. И, как мухи, бьющиеся меж оконными рамами о стекло, они потом долго и неуклюже разворачиваются на крохотном пятачке обратно.

Напротив института, за высоченным забором из массивных бетонных плит — промзона. Там наше знаменитое авиа-КБ, ангары и прочие бесчисленные казематы из серого силикатного кирпича и все того же бетона. Правда, узреть во всем его великолепии этот заповедник эпохи сумрачного производственного монументализма можно лишь с крыш соседних зданий.

Именно отсюда, из дверей здешней проходной, каждый вечер с понедельника по пятницу, ровно в пять, минута в минуту, выплескивается в переулок и устремляется по узкому коридору к грушевой аллее, а затем по ней — к метро, колонна немолодых, неброско одетых людей с бледными, чуть одутловатыми лицами. Такие лица — может, от сырости, а еще от однообразной, небогатой витаминами пищи — он помнил, были у детей барачников заштатного украинского городка, с которыми ему довелось играть в детстве. Эта ассоциация с прошлым усиливалась зимой, когда происходящее напоминало кадры черно-белой кинохроники. Кажется, так брели по дорогам войны колонны пленных — неважно, наших ли, немцев — молча, отрешенно глядя прямо перед собой.

В каких-нибудь трехстах метрах бурлил, гудел клаксонами, искрился рекламными огнями центральный городской проспект, но и здесь никому не оказывалось дела до этих обретших плоть музейных манекенов, сосредоточенно осуществляющих свой безмолвный марш и исчезающих в жерле ближайшего подземного перехода у магазинчика под вывеской «Интим».

Странные, почти мистические реминисценции возникли у Художника, оказавшегося на пути этой процессии, когда однажды он не посторонился, как обычно, а, замешкавшись, позволил толпе обтечь себя с обеих сторон. Он ощутил как будто неясное прикосновение к щеке... еще уловил какое-то смутно узнаваемое движение, схваченное боковым зрением... услышал шепот, слов которого было не разобрать...

И это было, как случайно сошедшаяся комбинация цифр, отворившая скрипучую дверку в самые потаенные уголки памяти. Он увидел себя пятилетнего, в душевной многочасовой очереди у хлебного прилавка... Потом вновь себя же, но уже на фотографии — набычившегося стриженного под полубокс мальчугана в матросском костюмчике за руку с мамой, и затейливую надпись в уголке: «Сочи. Ривьера. 1963».

А потом нащупал под языком — что бы вы думали? — кремовую розочку от пломбира, ту самую, из вафельного стаканчика за 19 копеек. И ощутил ее давным-давно забытый вкус.

И тут он сделал открытие, от которого у него даже немного закружилась голова: что эта странноватая процессия — на самом деле лишь фантом, возникающий ниоткуда и впадающий в никуда. Что это один из тех образов, что существуют только в нашем воображении — образ бесконечно струящегося человеческого бытия, не подвластного времени. Как детский паровозик, который движется по кругу, то исчезая в тоннеле, то возникая вновь, то удаляясь, то возвращаясь, он создает иллюзию континуума, непрерываемости всего, что на самом деле имеет свое начало и свой конец. Столь необходимую каждому из нас иллюзию того, что понятия «навсегда» не существует... Что наши самые непоправимые ошибки —

обратимы, а все лучшее, все самое светлое, что было в нашей жизни, все обязательно повторится — конечно, в измененных обстоятельствах, пусть даже совсем в иных лицах, красках, звуках... Что и теперь створка в торце последнего вагона, проплывающего мимо, вот-вот распахнется. И тогда... тогда...

А лязгающие засовы памяти продолжали вторяться. И ему увиделся пионерский лагерь. На улице дождь, капли, разбивающиеся об асфальт, оставляют следы размером с блюдце, как бывает только на юге. В клубе вожатые, пионеры с влажными волосами, выстроившись паровозиком, отплясывают летку-енку. Мимо проносится ее хвост, кто-то легонько толкает его в спину, но он стесняется, медлит, и вот уже хохочущий хоровод уходит дальше без него...

Он вдруг почувствовал страстное желание задержать в памяти этот кадр и подчинился, еще не понимая — зачем. Ведь он уже не помнил ничьих имен, ни тем более лиц. И все же с этим последним воспоминанием было связано что-то важное, что-то, может быть, самое главное. И, наконец, он понял, что именно: ему захотелось увидеть среди этих не узнаваемых им счастливых лиц свою маленькую дочку, «каляку-маляку», в меховой шапочке на пуговке под щечкой, которую он бережно снимал с нее, приводя каждое утро в детский сад. Еще свою красивую загорелую маму — точь-в-точь такую же, какой она осталась на той пожелтевшей курортной фотографии. И даже где-нибудь поблизости — радостно виляющую хвостом свою непоседу Айку в забавном комбинезончике и кепочке с козырьком, которые она с такой неохотой давала надевать на себя в дождь, потому что на улице над ней, бывало, потешались бестактные прохожие.

Ему вспоминались лица тех, кто оставил пусть даже мимолетный след в его жизни, и оказалось, что каждому находится место в этой безмятежной, сказочно благополучной стране. «Раз, два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать...»

Конечно, они тоже были где-то здесь: и белобрысая Анжелка, которая, проголодавшись, только что отправила за щеку неслабый кус своей любимой бабулиной кулебяки, и раскрасневшаяся девушка Маруся, статная, в новом ситцевом платьице и голубенькой косынке, которая так идет к ее глазам, и никому еще не приходит в голову называть ее Федотовной, и склонившийся над ее ушком улыбочивый старлей, который скоро увезет ее далеко-далеко... А где-то неподалеку под звуки аккордеона уснул на руках своих счастливых родителей юный Николаша Преображенский. «...Как тебе не стыдно спать... смешная енка вас приглашает тан-це-вать...»

* * *

... — Значит, так, гражданочка, вы нам сейчас повторите все, что рассказали в отделении. Вот сюда мне смотрите, прямо в камеру. Только встаньте во-от так, бочком, чтоб микрофон не задувало. Поближе к сержанту. Можете сесть вот на лавочку. Ну, поехали... Новак Мария Федотовна, 1932 года рождения, проживающая по Песчаному переулку, дом 43-а, квартира 14, опрашивается сотрудником детективного агентства «Гриф» по заявлению гражданки Шмелевой Л. Г. о розыске ее бывшего супруга. Это вы сообщили в милицию о находке вещей гражданина Шмелева?

— Ага, я это... сообщила...

— Вы узнаете эти вещи? Пакет полиэтиленовый с надписью «Вега», игрушка мягкая в виде собаки, три рисунка карандашных и паспорт на имя Шмелева А. Д., завернутые в газету «Перекресток». Вы нашли это здесь, на скамейке?

— От туточки, под лавкой...

— Вы опознали этого человека по фотографии в паспорте? Вы уверены, что знаете этого гражданина? Когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Нет-нет, микрофон сержант будет держать...

— Тухламон усе его звали...

— Тутанхамон. Это мы уже с вами выясняли.

— Ага, Тутанхамон. Жил он в тридцать третьем доме, это как раз мой участок. На пятом, нет, на шестом этаже. Там такие коридоры длиннющие, как в гостиницах, и все с закутками...

— С холлами?

— Ага, с холлами. От он в такой закутке и жил, в коробке картонной. И, как спал, накрывался тоже картонкой.

— Когда вы его видели в последний раз? Подождите, пусть машина проедет...

— Да уж недели три, как не видала. А тут гляжу — вещи вроде его, сумку-то я сразу распознала...

— Что вы можете еще о нем рассказать? Чем гражданин Шмелев А. Д., известный вам как Тутанхамон, занимался, на какие средства существовал? Были ли у него знакомые, у кого он мог поселиться?

— Не, про знакомых не знаю. Анжелка, шалава тут была местная, сказывала, что Тухламон как-то подошел к ним, в переходе-то. Пьянький был. Смотрел-смотрел, а потом и попросил ее: поговори со мной. Девки смеяться стали: «Какой мужчинка!» Анжелка ему тоже сперва отказала: говорит, я на работе. А он ей: «Я тебе колечко золотое подарю». Она ему: «Ладно, токмо колечко-то вперед». Ну, посидели они, поговорили, а чего там — не ведаю.

Я так думаю, что, окромя того колечка, ничего-то у него не было. А на что жил? Бутылки, знаю, собирал. Да уж как-то оно по-дурацки, прости господи, не умел он этого. Ходил-бродил там, где бутылок-то этих отродясь не бывало, все по пустырям каким-то. Но по помойкам не побирался. И не попрошайничал. Я ему хлебушка, бывалоча, принесу, другой чего даст — так и жил.

От эту собаку мягкую он за батарею прятал, когда уходил. Шмавовдякин Сашка из сто седьмой квартиры спрашивал его: это ваш пес ночью стучит лапой? Но собаки живой у Тухламона точно не было, я-то знала бы. А Тухламон ему отвечает: «Извини, у нее блохи».

Бывалоча, бормотал чегой-то во сне, а чего — не разберешь. Я, как проходила мимо, он все про время спрашивал. Каждый раз. Я удивлялася, а потом думаю: мне от дохтур лекарства прописал по часам принимать, може, и ему так.

На тот Новый год, сказывали: чуть пожар не устроил. Ветки елочные откудать принес, свечку зажег. Да, видно, задремал. А от свечки-то бумажка занялась, та, что с дочкиным-то портретом, а там уж и елка начала дымить... А вобщем смирный был, в подъезде, как другие, не гадил. За это жильцы-то его и терпели, не гоняли...

— Ладно, Федотовна, спасибо. Все, сержант, конец съемке, сворачиваемся.

Если объявится ваш Навуходоносор — дайте знать. Но интуиция подсказывает мне, что уже не объявится. Так что гражданка Шмелева Эл Гэ скоро сможет спокойно продавать свою квартирку...

Милицейский уазик заурчал и медленно покотился по аллее. Федотовна жестом женщины, которой уже все равно, что о ней подумают окружающие, расправила сзади старенькое пальтишко и, подхватив свою неразлучную спутницу тележку, двинулась в противоположную сторону.

Порыв ветра закрутил редкие бурые листья и погнал их мимо опустевших по осени лавочек, мимо островков давно очищенной от падалицы пожухлой травы...

КАК Я СТАЛ ВЕЛИКАНОМ

— Это линия прямой связи с Президентом? Я хочу знать: когда наконец наступит другая жизнь? Да не в стране! Лично у меня. Ну при чем тут зарплата? Вы там, в Кремле, я извиняюсь, совсем тормозите, что ли? Ведь известно, что человек

проживает на самом деле несколько жизней... Слышали: «...в сле-е-дующей жизни я стану кошкой, кошкой, ла-ла...»? Ну вот, бросили трубку...

Я только хотел сказать, что ради следующей жизни готов стать и кошкой, и Жучкой, а если уж других вариантов нет, то даже непосредственно Репкой. Главное — что я точно не стану собой нынешним.

А меня нынешнего можно запросто встретить у «Горячего куриного великана». Знаете эту фаст-фудовскую кафешку на Тверской? У входа здесь всегда разгуливает такая большая кура — вроде как у Чаплина в «Золотой лихорадке». «Мущина, угостите даму котлеткой...» — в общем, обычное зазывалово. Так это я и есть. Зарабатываю на хлеб насущный для своих пяти голодных ртов, включая тещу и таксу.

Господи, ну что, если я действительно устал все время быть одним и тем же? Я устал каждое утро просыпаться Гошей и нестись вприпрыжку одной и той же дорогой к метро. Я устал жаться с несчастной маленькой собачкой на крохотном островке истоптанной земли посреди мостовых. Устал подгадывать семейный отдых к отключению горячей воды, а еще помнить о четвергах, когда я должен выносить это проклятое мусорное ведро. По ночам, начиная с понедельника, мне кажется, я слышу доносящиеся с кухни стоны: это взывают о сострадании кочерыжки моих неудовлетворенных амбиций, скорлупа моих так и не вылупившихся талантов и страстей...

Бог с ним, с ведром. Главное, конечно, в том, что в этой жизни я по большому счету облажался. Признаю. Не знаю, может, у меня и в самом деле куриные мозги. А может, виной всему дурацкая привычка не жить по-человечески, а только косить от всего на свете? В школе — от контрольных, в институте — от курсовых, от практики, и там, и здесь — от физкультуры, от общественных поручений, от субботников... В психушке я косил от армии, потом, разобравшись, — в армии от психушки. Не раз косил от загса, от потенциальных алиментов... В конце концов я так вошел в роль, что виртуозно откосил и ото всего остального, что могло бы составить одну вполне благополучную человеческую жизнь...

В результате к тридцати семи годам из некогда нормального парня получился недомерок, пигмей, этакий куриный Кинг-Конг.

Не удивительно, что современники утратили к моей персоне всякий интерес. Милиция всегда грубо игнорирует меня на предмет проверки документов, хотя я бываю и небрит, и пиво, случается, дую из горла в людных местах. Контролеры в общественном транспорте, деликатно отворачиваясь, тоже не задают лишних вопросов. Человечество смотрит сквозь меня, будто через стекло, и ему до фонаря, что сегодня, к примеру, я наконец подстригся или, в кои-то веки, подарил себе, любимому, новый мобильник...

Но ведь я есть! — хочется воскликнуть мне. Но ушей окружающих достигает одно лишь рекламно-жизнерадостное кудахтанье...

Домочадцы — и те, едва переступая порог, бросаются мимо: кто к холодильнику, кто к телевизору. Даже собака, чуть прикрикнешь на нее, — тут же, обиженно отводя глаза, несет в зубах ботинок: свободен, мол. Косит под дурочку, якобы не понимает, что к чему.

— Лахудра! — в сердцах кричу я. — За свои гнусные намеки останешься сегодня без ужина!

— Гошенька, это ты мне? — выглядывает из кухни глуховатая теща.

— Ну что вы, мама, как вы только могли такое подумать?! Впрочем, вы так храпели сегодня...

Что в жизни человека есть зрелость? — размышляю я после позднего ужина, опуская натруженные ноги в тазик с горячей водой, заботливо приготовленный тещей. — Неужто лишь количество переваренного хавчика, как это называет мой Антошка? Неужто вся разница между мной и тринадцатилетним сыном — 2137 выданных на-гора ведер с пищевыми отходами да еще 14452 выгула собаки?

«Девушка, уступите дядечке место в автобусе: я все-таки съел на семнадцать тысяч блинчиков с мясом больше вашего...» Подумать только: позади семнадцать тысяч обожаемых мною блинчиков, которые я до сих пор готов лопать три раза в день, — и ничего не сделано для бессмертия!

Я говорю обо всем этом теще, которая внимает, кивая, каждому моему слову. Но тут обнаруживается, что старушка давно дремлет, и это у нее просто трясется голова...

Прочел тут в журнале: затянувшаяся депрессия, мол, — первая предвестница того, что нынешняя жизнь человека исчерпана и что на смену ей грядет новая. Но мое прежнее «я» не просто успело почить в бозе — оно уже мумифицировалось, а депрессуха все никак не проходит.

Чтобы хоть немного встряхнуться, принимаюсь украдкой разглядывать посетителей своего фаст-фуда, попутчиков в метро и просто прохожих. Примеряю к ним свою осиротевшую телесную оболочку, прикидываю, чьей жизнью мог бы воспользоваться. Понимаю, конечно, сколь фатально все мы, в сущности, похожи, но все же, все же...

Обнаруживаю, что после таких экспериментов возвращаешься домой, в тишину, как оглушенный. И в твоём усталом мозгу преломляются сотни голосов, чьих-то гримас, взглядов, ухмылок, запахов, движений, звуков. Они не запоминаются осознанно, но отлагаются в сознании, как невидимые отпечатки пальцев. От них хочется почистить поры памяти, как перья.

Захвачанный, залапанный этим миром, ты почти физически ощущаешь на себе частицы биоматериалов себе подобных: чьи-то выпавшие волосы, фрагменты слюны, вылетевшей в разговорах за спиной, маслянистый налет поручней и перил от сотен, тысяч рук...

Вот, думаю, дожил. Впору звонить в службу спасения: «Помогите: я не люблю людей!»

А назавтра случается нечто. «Пап, ты чего так странно стал смотреть?» — вдруг спрашивает утром мой старший «бройлер». «Что значит “странно”?» — настораживаюсь я. «Ну, не знаю... Не прямо, а как-то боком...» И он показывает. Бог мой, это же точь-в-точь взгляд моей хохлатки с Тверской: куры действительно ведь смотрят одной стороной головы! Вот уж батя вошел в роль...

И тут меня осеняет: а ведь я уже живу своей следующей жизнью. И эта жизнь оказывается явно не человеческой. Что называется, накаркал...

И сразу выстраиваются в одну цепочку все странности, которых я почему-то упорно не замечал все последнее время. И моя новая привычка будто что-то разглядывать у себя под ногами, («Не грибы собираешь!» — одергивала меня жена, заставляя во время прогулок искать глазами окна не ниже третьего этажа.) И дочкино наблюдение, что я вышагиваю, как цапля (а выходит, то была даже не цапля...). И то, как недавно потешались в бухгалтерии над моим почерком...

Я даже припомнил день, когда у меня ни с того ни с сего резко поднялась температура, также сама по себе быстро сошедшая на нет. И об этой температурной свече как о переломном моменте между прежней и новой жизнью тоже, кстати, говорилось в той журнальной статейке.

Возможно, все это лишь игра моего воображения, и на самом деле я просто устал. Стало быть, надо менять работу, а это значит, что мы с вами теперь можем так и не встретиться, и вы никогда не узнаете, чем же закончилась моя история...

Но знаете что? Если когда-нибудь в вашей тарелке окажется сочащийся прозрачным янтарным жиром, покрытый румяной корочкой пахучий, аппетитный горячий куриный великан — прежде чем вонзить свою вилку в нежную плоть, сделайте маленькую паузу ... вспомните обо мне. А вспомнив, в знак солидарности бросьте искоса один-единственный взгляд на мир так, как это делала хохлатка с Тверской...

Спасибо. И приятного аппетита.

А ГДЕ БАБУЛЯ?

Осознав, что любимца не воскресить, она взревела, как раненый зверь

Часа в два пополудни дверной звонок бабушки Карповны напомнил о себе булькающим фальцетом. Казалось, будто кто-то полощет простуженное горло.

Забравшись на крохотный табурет, для этих целей специально приспособленный, старушка прильнула к глазку. На площадке топтались две тетки в шикарных шубах.

— И кой-та? И чевои-та? — певуче отозвалась Карповна.

— Из собеса мы, бабуля, — засюсюкала тетка, что постарше. — Вам звонили с утра. Получите социальную карту и распишитесь...

Залязгали засовы, загремели затворы, и из-за приоткрывшейся двери показался сперва востренький носик, а затем и седая челка, выбивающаяся из-под пла-точка.

Формальности уладили быстро. Уходя, все та же фиксатая тетка, назвавшаяся Ларой Ивановной, напросилась помыть руки.

— Вот незадача, — заискивающе улыбаясь, обернулась она к хозяйке. — Кран не открывается...

— Как это? — удивилась Карповна. — А ну, милая, дай-ка я...

С краном-то было все в порядке. А вот дверь ванной почему-то вдруг оказалась запертой снаружи на задвижку, следом погас и свет.

А еще через минуту, включив на кухне «ящик» погромче, гости в четыре руки уже шмонали квартиру в поисках бабушкиных «гробовых».

Первым делом, как водится, обследовали кухню, затем кладовку. Бак с грязным бельем. Платяной шкаф. Подкладку старого пальтеца в прихожей. Нигде ничего.

Наконец, сокровища нашлись. Они оказались обернуты в чистую бельевую тряпицу, тряпица — в слегка пожелтевшую газетку рекламных объявлений, а уж газетный комок хозяйка запихнула в свой старый ботик — из тех, что надевали в дождь в дни ее юности.

Ботик же бабушка Карповна почему-то хранила у себя под подушкой.

Покидая квартиру, мошенницы прислушались к звукам в ванной. Но телек на кухне орал так, что услышать еще что-либо было мудрено.

— Не окочурилась бы! — буркнула «Лара Ивановна» и, еле слышно отодвинув защелку, заглянула внутрь.

Ванная была пуста! Под потолком тетки обнаружили маленькое оконце, ведущее в туалет. Точнее, это было просто незастекленное отверстие, лишь символически задрапированное занавесочкой. Миниатюрная старушка явно сперва вскарабкалась на свою ископаемую стиральную машинку, а уж оттуда сумела протиснуться в узкий проем.

У мошенниц душа ушла в пятки. Им уже явственно представились засада в подъезде, ментовский наряд, заламывающий им руки, заплыванный холодный пол «обезьянника»...

Какова же была их радость обнаружить бабулю... приникшей к «ящику» на кухне. По первому каналу повторяли вчерашнюю серию «мыла», которую Карповна, задремав, пропустила, к своему горю. И теперь музыкальная заставка к фильму буквально подняла ее в воздух...

Покрутив пальцем у виска, гости хотели было удалиться. Но зловредная старушенция, похоже, что-то сотворила с дверью: один замок никак не желал поддаваться.

Провозившись с ним минут десять, тетки ворвались на кухню и потребовали от Карповны выпустить их на свободу. Хозяйка, вперившая горячий взгляд в экран, ответила им столь же решительным отказом. Развязка в фильме неумолимо приближалась: дон Хуанито, отец Сильвии, вот-вот должен был застучать влюбленных,

и тогда... На глазах Карповны уже заблаговременно показались слезы... В общем, теткам велено было ждать.

Та «собесовка», что помоложе, подскочив к телеку, возмущенно ткнула кнопку «выкл». Карповна, вскочив, тут же восстановила статус-кво. Молодуха повторила выпад. Карповна снова ответила «вкл». В завязавшейся затем схватке стороны попросту уронили допотопный бабушкин «Рекорд» на пол. Голубой глаз мигнул присутствующим на прощанье и погас.

Карповна поначалу оцепенела, но уже в следующее мгновение бросилась на грудь своему сердешному другу, пытаясь вдохнуть в него жизнь. Она причитала над ним, как солдатка, на глазах у которой подстрелили единственного кормильца.

«Собесовки»-бесовки наблюдали эту сцену, хихикая. Эх, лучше бы они помолчали. Осознав, что любимца не воскресить, Карповна взревела, как раненый зверь.

Первое, что попало бабушке под руку — холимый и лелеемый ею дотоле лимон в горшочке. Ухватив растение за стебель, она с размаху обрушила горшок на голову молодой. Раздался треск, и на пол посыпались осколки. Нет, треснул не череп, но удар оказался все же весьма неожиданным. Отсюда и сердечный приступ, с которым крало позднее доставят в реанимацию.

Фиксатой «Ларе Ивановне» тоже не повезло. Отшатнувшись, она потеряла равновесие и растянулась на полу, после чего с Карповной на плечах попыталась уползти в безопасное место. Не тут-то было. Своими цепкими пальцами бывшей доярки та что было силы ухватила ее... нет, всего лишь за нос, и слегка крутанула.

Тетка взвыла. А бабушке было и невдомек, что применила она приемчик рукопашного боя, весьма популярный в некоторых закрытых помещениях, например, в тюремных камерах.

Далее, орудую носом противницы, как коробкой передач, Карповна заставила незадачливую тетку «подвезти» ее до телефона и даже набрать «02».

Когда вслед за милицейским нарядом к дому подкатила вызванная Карповной же «скорая», оказалось, что одних носилок не хватит. Медикам пришлось вызывать подмогу.

А через несколько дней двое сержантов в милицейских погонах торжественно внесли в квартирку Карповны ценный подарок, которым награждали бабушку за задержание опасных преступниц. Узнав, что именно ей вручают, Карповна притянула милицейского начальника своими цепкими пальцами и расцеловала его в бархатистые щеки.

АНТОНИНА И ЕЁ ПУПЫРИ

...А один чиновник даже доверил ей свое детское кредо: «Слушаться старших и копить деньги»

У Анютиной соседки по палате Антонины Федоровны до больницы было обычное занятие: она жалела и подкармливала пупырей.

Вы подумали, что это такие забавные зверьки, вроде кроликов или хомячков? Вот и Анютка удивилась, что не слышала о них раньше. А всякий раз, когда эта широкоскулая девчушка из вологодской глубинки чему-то удивлялась, она приподымала свои соболиные бровки и восклицала: «Вока!», что было, видимо, чем-то между «Эка!» и «Вот как?»

Но оказалось, что пупыри — это люди. Нет, не бомжи. Скорее что-то вроде больших гномов. Любят лакомства, особенно домашненькое, очень добрые, привязчивые. Легко идут на контакт, невозможно доверчивые, а едят — так просто с руки.

Началось все с того, что Антонине Федоровне не давали полновесную пенсию. Что-то там в документах оказалось напутано. Пришлось бывшей учительнице на-
«Зарубежные записки» №9/2007

чальных классов отправляться по всем этим чиновничьим кабинетам, по этому жуткому кругу от одного акакия акакиевича к другому.

Ни черта, конечно, она не добилась. То есть убалтывать-то ее убалтывали, а дело не сдвигалось ни на йоту. Но тут Антонина Федоровна поймала себя на том, что ей все равно хочется ходить по этим казенным комнатам. И бог с ней, с пенсией. Потому как, может, даже важнее для одинокой пожилой женщины оказалось само участливое человеческое внимание.

Попробуйте-ка в большом городе заговорить о своих бедах с каким-нибудь прохожим. А чиновник — он не отвернется. Работа у него такая. А уж если принесешь с собой чего вкусенького — и вовсе растает.

Поначалу эти визиты привносили хоть какое-то разнообразие в жизнь Антонины Федоровны, казавшуюся такой пустой после выхода на пенсию. Ни кошечку, ни даже цветок в горшочке завести она не решалась, так как в любое время приходилось ей быть готовой снова и снова ложиться в больницу.

Пупыри же были в этом смысле неприхотливы, ибо находились, образно говоря, на самопрокорме. И только ближе к праздникам Антонина Федоровна становилась к плите и, налепив домашних пирожков да ватрушек, отправлялась в путь.

Управа, собес, ЖЭК, пенсионный фонд, гороно... Со временем этих самых пупырей набралось у нее аж восемь душ. «Теть Тонь, а чего ты их пупырями зовешь?» — полюбопытствовала однажды Анютка. «А бог его знает, дочка, — немного легкомысленно отвечала пожилая женщина. — Как-то так на сердце легло...»

Не сразу, но пришла Антонина к удивительному наблюдению, что все эти чиновники по жизни не очень счастливые люди. И все оттого, что лишены они нашего бескорыстного отношения. А что черствые они бывают или алчные, так это сами мы их и испортили. Хотя Антонина Федоровна точно знала: в большинстве своем все равно они более чуткие, чем остальные.

В последние деньки, когда Антонина вставать уже почти перестала, все переживала она, что пупыри ее останутся на свете одни-одинешеньки. Уж неведомо, как эти люди узнали о ее недуге, только стали они то по одному, то по двое-трое приходить к их старому больничному корпусу, прозванному в народе Капитолием. Они стояли внизу под окнами и махали руками, что-то крича. Но форточку доктор Лев Геннадьевич, похожий на седую цаплю, открывать не разрешал, а без этого слышно с улицы ничего не было.

Антонина прогоняла пупырей жестами, но они не уходили и дотемна только пританцовывали между сугробами.

— Это кто, Федоровна? — спрашивали сестры, поглядывая на улицу у Антонины из-за плеча.

— Это мои друзья, — с гордостью отвечала она, и измученное лицо ее впервые за многие дни освещалось улыбкой.

Анюта заметила, что чаще других приходил высокий полноватый мужчина лет пятидесяти в пальто с каракулевым воротником и такой же шапке пирожком. Это был Дмитрий Емельянович из управы. Только Антонине Федоровне он под большим секретом доверил свое главное жизненное кредо, сформулированное еще в одиннадцать лет: «Слушаться старших и копить деньги».

Дмитрий Емельянович оказался очень смешной: все рисовал какие-то узоры на снегу, корчил рожи. Даже пытался танцевать. Антонина Федоровна ничего не понимала, но тоже махала ему в ответ. Иногда он украдкой отворачивался и смахивал невидимую слезу. Анюта поняла, что он все знал.

Старая учительница постеснялась признаться Анютке, что пупырями, как называли на местном наречии целлулоидных голышей, этих самых замечательных барби ее предвоенного детства, она любовно звала своих птенцов, свой самый первый выпуск.

Спустя много-много лет, общаясь уже с пупырями нынешними, она прочтет у писателя Шекли историю о том, как граждане некой придуманной страны получили возможность лишать неугодных чиновников жизни. Эта сказка почему-то заставит ее разволноваться.

К этому времени Антонина Федоровна уже будет знать, что детство и юность не уходят от человека бесследно, что они продолжают сосуществовать с его зрелостью, а затем и старостью. И Антонина, каким-то своим особым внутренним зрением, будет с каждым днем все ближе узнавать в этих застегнутых на все пуговицы манекенах своих прежних малышей — любознательных, ласковых, непоседливых. Она отчетливо увидит их тонкие шейки, их горящие глаза, их руки, тянущиеся с парт, услышит их звонкие голоса, будто и сегодня разносящиеся по коридорам окраинной деревянной школки, где она начинала...

В ее последнюю ночь Анюта слышала, как Антонина Федоровна, прикрывшись одеялом, что-то бормотала, всхлипывая, девушка разобрала только: «Простите... простите меня...» Под утро она ушла — так же несуетно, как и жила эти последние годы. В рукавчике ее любимой вязаной кофты потом нашли записку, которую она давно уже наказывала затупившимся карандашом: «АНЮТКА ВОЗМИ МОИХ ПУПЫРЕЙ». А дарственную на свою квартирку в старой хрущобе, как оказалось, она оформила еще раньше...